

Олег КУДРИН

Величие неактуальности



Неразгаданность, таинственность, закрытость Лермонтова — общее место при рассуждениях о нем. Тоже общее, но чуть менее, в некоторые периоды все же опровергаемое — утверждение, что о Михаиле Юрьевиче говорят меньше, чем он того заслуживает, что он недостаточно актуализирован, мало обсуждают, плохо «вписан» в современность. И все это сочетается с напоминанием: его творчество, как у истинного классика, вечно, неустареваемо, универсально для всех эпох и народов.

Спорить с этими противоречащими друг другу тезисами трудно. Лермонтов в отличие от других классиков первого ряда действительно поразительно мало востребован, закрыт для понимания. И, по большому счету, всеобъемлюще системно не исследован. Всё как-то лоскутно, кусочками, в сумме — разносторонне, но недостаточно взаимосвязано.

Хорошее подтверждение тому: лучший труд о Михаиле Юрьевиче — обширная и объемная «Лермонтовская энциклопедия» (ЛЭ), составленная не концептуально, а по алфавитному принципу. Еще один неплохой маркер — лермонтовский том Библиотеки всемирной литературы. Вступительную статью (и комментарии) для него писал Ираклий Андроников. Статья в пять страничек названа,

словно рассказ для чтения на торжественном концерте — «Подвиг».

Да, кстати, и вступительная статья к фундаментальной ЛЭ — тоже Ираклия Луарсабовича. И тут название статьи тоже о многом говорит — «Образ Лермонтова». Не «Наследие...», не «Миссия...», не «Проблема...», а лишь умело и быстро набросанный образ (с попыткой уловить суть «пламя и света», мерцающую за «огненными глазами» и «армейской наружностью»). Что ж так, почему такая осторожность, не случайная для советского времени и для замечательного, большого, квалифицированного коллектива ЛЭ? Странно. Да, Ираклий Андроников — талантливейший человек, блистательный рассказчик и честный исследователь, но все же эстражник, популяризатор, а не зрящий в суть теоретик, не Лихачев, не Аверинцев, не Лотман.

Припомним основные сюжеты лермонтоведения в два прошедших столетия. В девятнадцатом веке разговор о нем шел преимущественно в двух плоскостях: нравствен/безнравственен, прогрессивен/реакционен. Что дальше? Теоретики и авторы Серебряного века назвали себя продолжателями его наследия. И те из них, кто уехал в эмиграцию, подняли на небывалую высоту утверждение, будто Лермонтов выше Пушкина (что

стало перевертышем прежней максимы: Лермонтов — подражатель Пушкина, «вечно второй»). Параллельно в Советском Союзе в учебном процессе на всех уровнях был забетонирован подход Белинского. Лермонтов Пушкина не выше, зато чрезвычайно нравственен, потому что очень прогрессивен, и за это даже отдельные элементы безнравственности легко прощаются.

Что еще? Несколько сквозных сюжетов. От Гоголя пошла плодотворная линия рассуждений на тему, каким бы мог стать Лермонтов, если бы прожил дольше и сотворил больше. В своем позитивном развитии она не только смыкалась с тезисом «Лермонтов выше Пушкина», но также утверждала ущербность, а то и ненужность всех остальных классиков «золотого века»... Яркие пророческие стихи Лермонтова о печальной судьбе и трагической судьбе России в сумме с переплетающимися в его творчестве демонической и молитвенной линиями неизбежно вели к тому, чтобы рассматривать его, как великого мистика, космиста, поэтического супермена, заброшенного к нам из других миров. (Ярче всего подобная картина была прописана Даниилом Андреевым в «Розе мира».)

И, конечно же, обязательная работа ученых. Прежде всего, литературоведческое, лингвистическое, так сказать, технологическое изучение его наследия. А также выяснение мельчайших биографических подробностей с неизбежным переходом в сферу массовой культуры, когда речь заходила о сюжетах, широко востребованных: детективные подробности дуэли, три версии о «подлинном отце» Михаила Юрьевича, выяснение, какой любимой или нелюбимой было посвящено то или иное творение.

В основном всё. Немного, если сравнить Лермонтова со вторым великим демоном и сновидцем русской литературы (как определил их обоих Достоевский) — Гоголем. То же ведь автор очень сложный, загадочный, вполне мистический. Но это не мешает, а в чем-то и пособляет выстраивать вокруг его творчества и судьбы множество концепций, помогающих идеологической приватизации. Гоголь может быть назван и русским имперцем, и православным философом, и душевнобольным почти-сатанистом, и фундатором языка русской прозы, и украинским русскоязычным писателем, и всем-всем... (Это все не так уж трудно весомо и объемно подтвердить материалом, соответствующим образом подобранным и скомпонованным.)

Не меньший по объему, но, разумеется, несколько иной по заголовкам, по содержанию шлейф идеологических концептов можно найти у других светил «золотого века»: Пушкин, Достоевский, Толстой (обширный список тем, сопровождающих каждое имя, можете составить сами, начиная от имперца Пушкина, «воспевавшего» подавление поляков, и кончая бородатым большевистским «Зеркалом русской революции»). Неоднозначность, многомерность творчества гения позволяет при минимальных умственных затратах, максимальном субъективизме и даже почти без манипуляций, подтасовок делать великого своим идеологическим союзником, предшественником.

Однако с Лермонтовым этот фокус не проходит. Он не присваиваем, не приватизируем, его нельзя адаптировать ни к какой идеологии. При том, что на первый взгляд кажется, будто для этого есть все составляющие — отдельные строки, цитаты или даже законченные произведения. Но все вместе как-то не собирается, не склеивается. Хорошее подтверждение по принципу «от противного» — попытка вписать классика в рамки национал-патриотической идеологии: от давнего фильма Николая Бурляева до свежего томика в серии «ЖЗЛ» Владимира Бондаренко. При всей страстности, убежденности и начитанности, это выглядит так неубедительно, наивно, что, кажется, в снятое и написанное никто, кроме авторов, их близких, друзей, единомышленников, не верит. По крайней мере, настолько, чтоб серьезно обсуждать.

И что же получается? Такой неприсвоенный Лермонтов остается вне войны идеологий, а значит — вне истории идей. И потому кажется недостаточно актуальным, недостаточным современным. Что при соотношении с качеством его произведений, разнообразием и глубиной затрагиваемых тем, говоря обобщенно — статусом классика, представляется, на первый взгляд, явной несправедливостью, каким-то, что ли, недосмотром коллективно-бессознательного и персонального теоретического.

На самом деле такое положение — прямое следствие особенностей его наследия.

Лермонтов, как творец, гармоничен в своей дисгармонии. Его творчество вообще естественней всего описывать оксюморонами. Стильность — в разностильности, рассказ — в недосказанности, фокус — в расфокусировке, в смене взгляда от строчки к строчке. Ты читаешь Лермонтова и, завороченный, не замечаешь, как автор регулярно подкручивает ребристое колесико резкости бинокля. Или телескопа? Или микроскопа? Да уж, ведомый читающий порой и сам не может заметить, когда ведающий автор подменяет не только фокус зрения, но и сам инструмент.

От этого получается эффект сходный с психоделическим. Без музыки, без цвета, без звука, без применения дурманящих средств, а от одного только чтения человек сбив с толку, утрачивает на какое-то время и в какой-то степени ориентацию в пространстве — четырехмерном, эстетическом, этическом... Именно поэтому так легко (но и настолько же бессмысленно) говорить о космизме, мистике, мистическом космизме и космическом мистицизме этого творца. (Это ведь тоже древнейшая особенность человеков — все непонятное, необъяснимое приписывать сверхъестественному: «богу из машины» — для человеков пишущих, инопланетянам — для человеков, набиравших тексты.)

И много сложнее добираться до расфокусированной сути. Нынче мы далеко отошли от начала XIX века, когда в пьесе простенько названной «Menschen und Leidenschaften / Люди и страсти», провинциальные герои рассуждают так: «Помилуйте! У них философия преподается лучше, нежели где-нибудь! Неужто Кант был дурак?..» Разумеется, нет. И вот в воспоминаниях сослуживца, декабриста Лорера (записанных, очевидно, со слов самого Михаила Юрьевича), два других «Л», Лермонтов и декабрист же Лихачев, в том самом бою у Валерика под пулями горцев (за минуту до смерти Лихачева) спорили о Канте и Гегеле, да так оживленно, что «часто в жару спора неосторожно оставались» (что, похоже, и стало причиной смерти). Знали, чем рисковали. Знали, о чем спорили...

Скажите, спекуляция, опять «игра в мистику»? Но разве не о том же говорится в «Поэте» (1839), лермонтовском самоопределении Творца:

Твой стих, как божий дух,
носился над толпой

И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечною,
Во дни торжеств и бед народных.

А следом язык поэта и колокола f?r uns сразу же надежно упрятывается в универсальную всемирную броню an sich:

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блестящие и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Да, повсюду, куда ни глянь, у Лермонтова не просто двуличие, но «маски», «кора», в которую упрятан человек. И далее тонкая философская игра на смыслах и категориях: приоткрое что-то — да тут же опровергнет, утвердит и сразу усомнится, обобщит — да следом замельтешит (или наоборот), покажет и вскоре (да не раз) сменит экспозицию и фокус. Говоря обобщенно: сплошной Печорин-в-себе плюс-минус Печорин-для-нас (с учетом того, что и Печорин — сильно искаженное отражение).

И еще важное отличие отметим: если «маски» с «блестками» и «румянами» могут восприниматься как нечто наносное, временное, самими людьми используемое, то «кора» — это уже абсолютно точное экзистенциальное определение безнадёжной человеческой замкнутости в своем слабом теле и невечном разуме. Так что не надо иронизировать, подобно критикам, над недоучкой Печориным/Лермонтовым: «Я стал читать, учиться — науки также надоели». Может, и надоели, но освоил он их, освоил, прежде всего, главную «науку жизни» — философию.

Вернемся, однако, к замечательной, подробнейшей Лермонтовской энциклопедии. Каких только статей нет, имеются, скажем, и «Стиль», и «Стилизация», и «Стилистика». А вот «Философия Л.» (или «Философичности Л.», или «Философствования Л.») нет и в помине. Она растворена преимущественно в трех статьях — «Психологизм Л.», «Богоборческие мотивы Л.» и «Религиозные мотивы Л.». Что ж так?

Между мятежным демонизмом и гармоничным восхищением Богоматерью и Природой, конечно, много философии можно уместить, но далеко не всю. Да и вполне прикладной «психологизм» при том, что психология как наука со своей методикой и методологией

сложилась совсем недавно, для автора первой половины XIX века смотрится немного странно, "задним числом". В отличие от философии (ибо в то время психология как раз и оставалась ее частью, оказавшейся вдруг у дверей медицины). То есть психология (как и ее проекция на литтворчество — психологизм) начала XIX века — это философия души.

А заглянем-ка в раздел "Тысяча самых частых слов" в ЛЭ. В верхних строках — звездная пыль словесности: союзы, предлоги, частицы, местоимения. Несколько глаголов: быть-мочь-знать-сказать-любить-хотеть. (Обратите внимание, какое интересное, философски точное ранжирование действий личности — ее утверждение и самоутверждение, познание и самопознание.) И вот — внимание! — имена существительные. На первом месте "рука" (940). Она едина в трех качествах: церемониальном ("пожал руку", "помахала рукой"), действующем ("сильная рука оттолкнула", "обвила руками шею") и как невербальный источник информации ("он слушал ее молча, опустив голову на руки", "слова руки прохаживались угрюмый взвод и вперед").

А на втором месте — "душа" (830). Душа, что как раз и составляет предмет исследования психологии. И философия как науки наук. А в трудах какого философа холодный айсберг "души" откололся от материнского ледника общего знания и ушел в дрейф? В работах Фрэнсиса Бэкона — великого эмпирика XVI — XVII веков, первым заговорившего о необходимости такого же подхода и к душе. Бэкон также сказал о необходимости размежевания науки о теле и науки о душе. Припомните, да ведь с этим именно философом и последним его положением шутили спорит "недоучка" Печорин/Лермонтов, говоря: "Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!.."

Из документально зафиксированных упоминаний философических разговоров Лермонтова Бэкон — третье имя (после Канта и Гегеля). Из письма некоего Н. Молчанова московскому литератору В.В. Пассеку: "Беседа его [Лермонтова] с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: "Что за умница".

Иустин Дядьковский (1784 — 1841) — врач-терапевт, и практик, и теоретик, уволенный в 1836 году из Московского университета по обвинению в атеизме. Из контекста естественно предположить, что Лермонтов и Дядьковский, рассуждая о Бэконе, говорили в треугольнике философия — физиология — психология. Да и знакомы, скорее всего, они были еще со времен пребывания Мишеля в пансионе-университете (столько общих московских знакомых). И резюме последнего общения: "Что за умница". Стало быть, о Бэконе Михаил Юрьевич рассуждал умно и тонко, раз уж такой тертый эмпирик как профессор кафедры терапии, директор терапевтической клиники, материалист и безбожник отозвался о нем подобным образом. Вот вам — снова-таки — и недоучка.

Вообще интересный результат получается, если сопоставить два знаменитых, как бы саморазоблачительных, а на самом деле самооправдательных, взыскующих к эмпатии, монолога Печорина. Вырежем из них два фрагмента, объединенных, как лезвия ножниц винтиком, словом "наука": "Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно..." (перед Максим Максимычем), "...узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние..." (перед княжной Мэри).

Тут все интересно: как различие, так и сходство. Думается, науки не просто надоели — перед тем они еще помогли понять "свет и пружины общества" и стать искусным в "науке жизни". Однако причины "скуки" или "отчаяния" (на боевого офицера, много повидавшего, больше действует первое слово, на неопытную девушку — второе; хороший пример философического психологизма в действии) все равно не вполне понятны. Ну, "невежды счастливы", ну, "слава — плод удачи", ну, кто-то счастлив "даром", не понав и не познав науки жизни. И что ж с того?..

Чтобы понять, надо припомнить: что перед тем? "...Я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив". Зависть ли тут главное? Нет, скорее — чувство несправедливости. И оно же, это чувство — валюта, которой Лермонтов/Печорин платит за свое право (если не обязанность) манипулировать этими людьми. Вы глупы и безграмотны, но счастливы и удачливы, так не обесчудьте, если я буду вас изучать. Причем — по Бэкону! — разумеется, эмпирически. Вот в чем суть бесконечных философских-психологических экспериментов Лермонтова (ставших законченными этюдами Печорина), совершавшихся (как это всегда делали смелые, честные исследователи) и над собой. Печорин/Лермонтов — тот же доктор Вернер/Майер, только перо вместо скальпеля, но столь же острое. И именно доктору он наиболее подробно рассказывает — пока не прервут — о своих эмпирических экзерсисах, прежде всего, над собой (что, как мы понимаем, важно для самооправдания): "Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?" Главное различие: Лермонтов, в отличие, от Майера, клятву Гиппократу не давал, потому, как аматор, имеет право заявить в предисловии: "...нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте <...> чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков <...> Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!". (Впрочем, это различие не только между любителем и профессионалом, но и меж философом

и психологом-психиатром.) Увы, один из опытов экспериментатора-бэконианца завершился трагически, стал последним...

Итак, пометили: психологизм Лермонтова — философский. Скажете: эка невидаль, этого и у других предостаточно, более всего — у Достоевского с Толстым (всемирного постфрейдовского Толстовского)? Да. Но у Лермонтова почти совершенно нет столь любимой другими прикладной историософии. А та, что порой мелькает, слишком схематично, архетипически-фольклорно, по-детски — в духе "Не гонялся бы ты, поп за дешевизной!". И оттого всерьез не воспринимается: "И пришел с грозой военной / Трехнедельный удалец, — / И рукою дерзновенной / Хватя за вражеский венец. / Но улыбкой роковой / Русский витьязь отвечал: / Посмотрел — тряхнул главою... Ахнул дерзкий — и упал! / Но упал он в дальнем море / На неведомый гранит, / Там, где буря на просторе / Над пучиной шумит". Историософия оборачивается сказкой. (Узнаете? "Ветер на море гуляет / И кораблик подгоняет; / Он бежит себе в волнах / На раздутых парусах"). И именно поэтому в ее отсутствие психология, смыкающаяся с физиологией (как мы четко называем эти дисциплины сейчас), у Лермонтова перевешивает...

О! Да, так вот же — и место для непристойных "юнкерских поэм" нашлось! Они не просто помогли обрести легкость и раскованность, самоощущение творческой несвободности, не только макнули воздушный романтизм в грязь жизни, тем самым оформив творчество, сделал его материальным, осязаемым. Нет, тут еще экспериментальное установление взаимосвязи физиология-психология-философия. И именно поэтому самое часто используемое у Лермонтова слово сущностное, то есть существительное, даже перед "душой" (соответствующей психологии-философии), — "рука" (физиология-психология)!

А заглянем-ка еще в список "тысячи самых частых слов". Если не брать терминологические-драматургические (действующие лица) "Арбенин", "князь", "Нина", то в первые два десятка входят еще день, сердце, жизнь, любовь, бог (жаль, по причине советскости нет расшифровки, разделения на бог и Бог), глаз, слово, люди, грудь, друг, небо, отец, взор, земля, человек, голова, лицо, слеза, лета.

Интереснейший список. Да, конечно, тут в первую очередь можно выстроить философскую, метафизическую цепочку: земля — небо — бог — отец — любовь — слово — душа — человек — друг — люди — жизнь — день — лета... Но, с другой стороны, как много слов, словосочетаний, цепочек, идеально подходящих для материалистического описания поведенческих реакций, порой простейших (и мы помним их в лермонтовской прозе — просто на вкус ощущаем): взор — глаз — слеза, жизнь — грудь — душа — сердце — любовь, голова — лицо — рука.

Вот так трудноразделимо, вопреки ньютоновскому окрику "Физика, бойся метафизики!", сочетаются у Лермонтова оба крыла "науки жизни": физическое и метафизическое, впрочем, кстати, разделенные именно Бэконом.

Развиваем помеченное: Лермонтов в философии хорошо подкован и сам как творец философичен, но при том не идеологичен. У него — философия человека (оттого-то он так нравится всяческим мистикам, начиная с антропософов), но не общества. Потому так трудно вписывается Михаил Юрьевич в историю идей, в истмат. Или, как сказала Н.К. Крупская: "Владимир Ильич любил Лермонтова, но как-то "стихийно". Привлекали, должно быть, смелость и сила чувства, которые так ярки у Лермонтова". Вот ведь, казалось бы: системный, прагматичный Ленин, а и тут стихийность и чувственность.

"Ессе Ното; человеческое, слишком человеческое!" — Ницше здесь к месту. И неслучайно — его, помнится, также в последователи Лермонтова записывали. Впрочем, тоже недолго, быстро следовало убедительное опровержение...

Но постоит, кажется, что в этой идеологической неприкаянности есть еще какая-то упущенная составляющая. Несложная, но важная. Так, Бэкон у нас был, Кант — тоже... Вспомним еще Гегеля с его школярским, вечным, легко запоминающимся "Все действительное — разумно, все разумное — действительно". Тезис, мыслившийся окончательным оправданием всему сущему (прежде всего — прусской монархии), как точно подметил Гейне, а за ним — Маркс, на самом деле — революционный. Ведь все, что теряет разумность, через какое-то время перестает быть и действительным.

Кажется, что формула эта параллельна творчеству Михаила Юрьевича. На первый взгляд, у него ничего не разумно и ничего не действительно. Но нет, пожалуй, она все же перпендикулярна. Если вспомнить да обобщить, то разве не верно будет сказать о его наследии: "Все действительное — неразумно, все разумное — недействительно"?

Так, допустим. А как эта максима соотносится с гегелевским утверждением? Да так же, как мятеж-бунт с революцией! Она опро-

вергает все и все взрывает с ходу, не обещая, в отличие от революции, никаких шансов на успех, на победу. Не обещая (опять же — в отличие от революции) после победы, буде она случится, ничего позитивного, системного. И потому еще творчество Лермонтова для любой власти опасно, любой идеологии противопоказано. А значит, априори чуждо дурной актуальности, ангажированной современности (показательно, что атакующему русскому Б-2, Бурляеву и Бондаренко, для "приватизации" Лермонтова пришлось, прежде всего, его приструнить, ввести в рамки, обкорнать — оспорить авторство "Прощай, немытая Россия").

Лучше всех этот "метафизический лермонтовский бунт" описал Мережковский в "Поэте сверхчеловечества":

"Если кто-нибудь из русских писателей начинал бунтовать, то разве только для того, чтобы тотчас же покаяться и еще глубже смириться. Забунтовал Пушкин, написал оду "Вольность" и смирился — написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей, декабристов:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Забунтовал Гоголь, написал первую часть "Мертвых душ" и смирился — сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу — и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился — кончил непотворением злу, проклятием русской революции.

И вот один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, — Лермонтов".

В длинной этой цитате на примерах хорошо показано, а в итоге подмечено, что бунт + смирение = идеологичность. Бунт и смирение — крайности, ограничивающие спектр идеологий, два полюса, очерчивающие ось идеологичности, вокруг которой вертится актуальность "приватизированных" классиков.

Но тут нельзя не заметить противоречия. Бунт со смирением во всех приведенных примерах — социальный, вполне "истматовский". А у Лермонтова — метафизический. Потому стоит рассмотреть всю цитату, до конца:

"И вот один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, — Лермонтов.

Потому ли, что не успел смириться? — Едва ли.

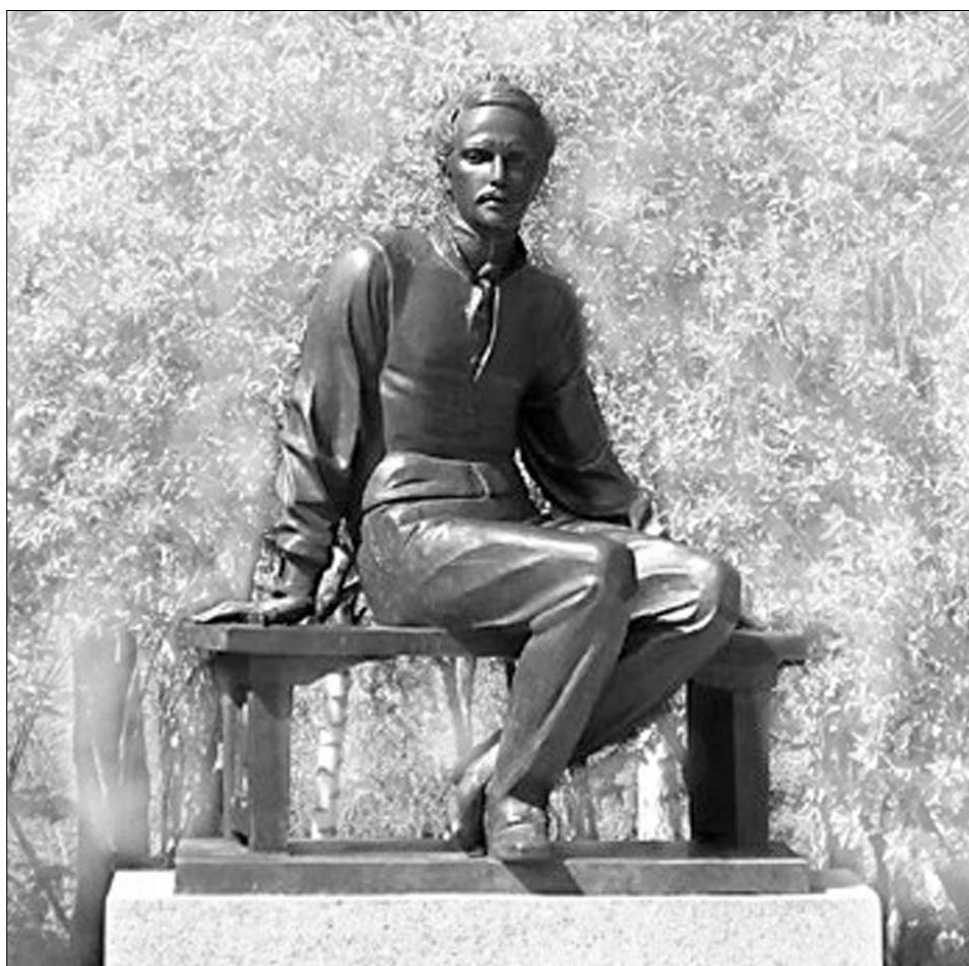
Источник лермонтовского бунта — не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению, но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божьих с человеческим рабством".

Здесь вроде бы еще одно противоречие. Едва сказав о сомнительности тезиса, что Лермонтов не успел смириться просто по молодости, Дмитрий Сергеевич тут же о возможности смирения и рассуждает — "если бы", "может быть". Впрочем, противоречия смягчены тем, что как раз между двумя утверждениями дано разграничение: в приведенных примерах с другими классиками бунт-смирение — эмпирические, и краткое отрицание "едва ли" относится именно к этому варианту бунта и смирения. Лермонтовский же бунт — метафизический. И, соответственно, смирение ("истинное") было бы совершенно иное, не социальное (с его "человеческим рабством"). А вот в эмпирическом смысле у Лермонтова вообще никакого бунта — холодный, привычный (и оттого скучный) анализ.

Но, кстати, со словом "бунт" Мережковский как раз оплошал — оно не вполне лермонтовское. Правильней было бы назвать это не по-крестьянски "бунтом", а дворянски, офицерски, гвардейски — "мятежом". В 18 лет автор свою мятежность обозначил: "А он, мятежный, просит бури". После размышлений в лета более зрелые осознал, каким порывом наполняется одинокий парус бури: "Мятежный демон, дух изгнания...". И вот именно такой, ушедший таким Михаил Юрьевич Лермонтов всегда будет актуальным — по закону отрицания отрицания. Вечно современными будут разговоры, рассуждения, обсуждения неприкаянности, неактуализованности, особости рано покинувшего нас гения.

Так уж сложилось, что его место в вечности именно такое. Он в цитате Мережковского — пятый. Не пятое колесо, но пятый палец, перпендикулярный четырем остальным. А все вместе они составляют что? Правильно — "руку". Понаписавшую в позапрошлом веке столько и такого, что болит наша "душа" беспоконная.

То есть нет, извините, — "мятежная"! Потому что за привычными "взор — глаз — слеза", "жизнь — грудь — душа — сердце — любовь", "голова — лицо — рука" чуят приближение к непостижимым, волнующим "земля — небо — бог — отец — любовь — слово — душа — человек — друг — люди — жизнь — день — лета"...



Памятник Лермонтову в Тарханах